Дикая собака динго, или Повесть о первой любви

Автор:
Рувим Фраерман

Дикая собака динго, или Повесть о первой любви

Рувим Исаевич Фраерман

Школьная библиотека (Детская литература)

Таня живет в небольшом городке на Дальнем Востоке. Она ходит в школу, помогает маме, и ничего особенного в ее жизни не происходит. Неожиданно в город приезжает отец, которого Таня никогда не видела, а с ним и его воспитанник – Коля. Смешанные чувства переполняют девочку. Вдруг она начинает мечтать о дальних странах и хочет увидеть дикую австралийскую собаку динго… Что с ней происходит? Может быть, она просто становится старше?..

Для среднего школьного возраста.

Рувим Фраерман

Дикая собака динго, или Повесть о первой любви

Художник С. Монахов

Предисловие

К. ПАУСТОВСКОГО

Иллюстрации на переплете

Н. КУРБАНОВОЙ

Добрый и чистый талант[1 - Статья печатается с изменениями по изданию: Жизнь и творчество Р. Фраермана. М.: Дет. лит., 1981.]

Я познакомился с писателем Р. Фраерманом в Батуми давно, почти более четверти века назад, когда оба мы были еще молоды и когда оба не были еще писателями. В то время мы только начинали писать и больше мечтали о работе писателя как о чем-то заманчивом, прекрасном, почти недостижимом.

Стояла батумская субтропическая зима 1922 года. Каждый, кто жил в Батуми, помнит тамошние зимы. И в ту пору они ничем не отличались от нынешних. Как всегда, лил, почти не переставая, теплый ливень, над горами курился пар, бушевало море, и в порту хрипло гудели пароходы.

Зимой на базарах сильнее был слышен угар от мангалов. На раскаленных углях шипела баранина. Из духанов, когда отворялась дверь, вылетал запах терпкого вина. А с запада ветры всё гнали на город стада низких туч, прижимая их к горам. Тучи останавливались, дождь хлестал из них днями, неделями, и непрерывный шум водостоков был в Батуми настолько обыкновенным, что его никто не замечал.

Я работал тогда редактором маленькой морской газеты «Маяк» и часто встречал на батумских улицах невысокого, очень быстрого человека с живым, смеющимся и внимательным взглядом. Человек этот бегал по городу в черном старом пальто. Полы его пальто развевались от морского ветра, а карманы были набиты мандаринами.

Он всегда носил с собой дождевой зонтик, но никогда его не раскрывал. Просто он забывал это делать.

Я не знал, кто этот человек, но он поразил меня своей живостью и прищуренными карими глазами, где, казалось, роились всякие интересные истории.

Это и был Фраерман Рувим Исаевич, тогда корреспондент Российского телеграфного агентства, то есть РОСТА, того самого РОСТА, где в разных городах страны и разными способами – стихами, плакатами и агитокнами – служили молодой республике и Маяковский, и Асеев, и Багрицкий, и многие другие поэты.

Фраерман был тоже больше похож на поэта, чем на журналиста.

Мы познакомились с ним и быстро сдружились. Да и трудно было не сдружиться с ним – человеком открытой души, всегда расположенным к людям, готовым пожертвовать всем ради дружбы.

Нас объединяла любовь к поэзии и литературе. Мы просиживали ночи напролет в моей тесной каморке и читали стихи. За разбитым окном гремело во мраке море, портовые крысы прогрызали пол, порой вся наша еда за день состояла из жидкого чая и кусочка чурека, но жизнь была прекрасна, чудесная действительность дополнялась строфами Пушкина, Лермонтова, Блока и Маяковского.

Молодые дни революции шумели вокруг, и можно было петь от радости перед зрелищем счастливого будущего, к которому мы шли вместе со всей страной.

Фраерман в то время только что приехал с Дальнего Востока, где он сражался в партизанском отряде против японских интервентов. Длинные батумские ночи были заполнены его рассказами о боях с японцами и белыми, об Охотском море, Шантарских островах, буранах, гиляках и тайге.

В Батуми Фраерман начал писать свою первую повесть о Дальнем Востоке. Это было в 1923 году. Называлась она тогда «На Амуре». Потом, после многих авторских придирчивых переделок, она появилась в печати под названием «Васька-гиляк».

Это была повесть, написанная с необыкновенной простотой и с какой-то мягкой силой. В ней Фраерман рассказывал о грозных днях Гражданской войны на холодных берегах Амура, о первых рыбацких колхозах, о первых чаяниях дикого, крошечного, дотоле почти неизвестного народа гиляков, о первых большевиках-гиляках…

Вслед за этой повестью появляются другие рассказы и повести Фраермана: «Соболя», «Буран», «Вторая весна», «Никичен», «Шпион», «Дикая собака динго…», «Подвиг в майскую ночь», «Дальнее плавание».

Но и в произведениях более поздних лет его жизни, как и в самой первой своей повести, Фраерман остается верным современности. Он никуда от нее не уходит. <…>

Но следует остановиться и на… чертах, присущих таланту Фраермана.

Он не столько прозаик, сколько поэт. Это определяет многое как в его творчестве, так и в жизни. Сила воздействия Фраермана на читателя заключена главным образом в его поэтическом видении мира, всегда возвышенном, в том, что жизнь предстает перед нами на страницах его книг в своей прекрасной сущности. Может быть, поэтому Фраерман и предпочитает главным образом писать для юношества.

Непосредственное юношеское сердце, склонное к возвышенному, поэтическому восприятию жизни, ему ближе, чем умудренное опытом сердце взрослого. Фраерман – детский писатель по своему призванию.

Повесть… «Васька-гиляк» оказалась именно повестью для детей, хотя он сам об этом не думал. <…>

Он дружен со своим читателем, не боится его и смело беседует с ним о его чувствах, мыслях и поступках, как бы ни было все это сложно. Он пишет о дружбе, он пишет о школе, о семье, об учителе.

Мир чувств ему ближе, чем мир предметов. У Фраермана добрый и чистый талант. Поэтому ему удалось с такой бережностью, поэтичностью и чистотой прикоснуться в своей книге «Дикая собака динго…» к таким сторонам жизни,

как первая юношеская, почти детская, любовь.

Поэтичность этой повести такова, что описание реальных вещей, заключенное в этом повествовании, вызывает у нас ощущение сказочности.

Прелесть многих рассказов Фраермана кроме поэтичности усиливается еще тонким и метким юмором. Этот юмор то трогателен, как в рассказе «Писатели приехали», то резко подчеркивает значительность содержания, как в рассказе «Путешественники вышли из города».

Большинство рассказов и повестей Фраермана написано о Дальнем Востоке. Эти повести и рассказы с полным правом можно назвать энциклопедией этой богатой и еще во многих своих частях неведомой нам области нашей страны.

Но главное в них не описательность, а чувство края как целого, то поэтическое содержание, которое присуще каждому краю по-своему.

Оно очень разнообразно – это поэтическое содержание. Поэзия величавого Амура совершенно иная, чем поэзия Волги, а поэзия тихоокеанских берегов очень разнится от поэзии Черноморья. Поэзия тайги, основанная на ощущении непроходимых и девственных лесных пространств, безлюдия, опасности, конечно, иная, чем поэзия среднерусского леса, где блеск и шум листвы никогда не вызывает чувства затерянности среди природы и одиночества.

Книги Фраермана с редкой точностью и силой передают поэзию Дальнего Востока. Можно открыть наугад любую из его дальневосточных повестей и почти на каждой странице можно найти отблеск этой поэзии.

Особенно прекрасны и полны свежести картины леса, рек, сопок, даже отдельных цветов – саранок. <…>

Весь край в рассказах Фраермана как бы появляется из утреннего тумана и торжественно расцветает под солнцем. И, закрывая книгу, мы чувствуем себя наполненными поэзией Дальнего Востока.

Но главное в книгах Фраермана – это люди. Пожалуй, никто из наших писателей еще не говорил о людях разных народностей Дальнего Востока – о тунгусах,

гиляках, нанайцах, эвенках – с такой теплотой и любовью, как Фраерман. Любовь эта основана на знании. С этими людьми Фраерман встречался не как наблюдатель. Он вместе с ними воевал в партизанском отряде во время Гражданской войны, погибал от гнуса в тайге, спал у костров на снегу, голодал и побеждал. И Васька-гиляк, и Никичен, и Олешек, и корейский мальчик Ти-Суеви, и нанаец Филька – это всё кровные друзья Фраермана, люди преданные, широкие, полные достоинств и справедливости.

Дальний Восток дал Фраерману богатый материал, пользуясь которым он раскрывает свою писательскую сущность, высказывает свои мысли о жизни, людях, о будущем и передает читателю глубочайшую свою веру в то, что свобода, справедливость, любовь к… человеку и прекрасной… земле, на которой он живет и работает, – это то главное, к чему мы должны всегда стремиться на том как будто коротком, но значительном отрезке времени, что отпущен каждому из нас и зовется «своей жизнью».

Это стремление к усовершенствованию самого себя, к ясности, простоте человеческих отношений, к пониманию богатства мира… проходит через все книги Фраермана, выражено им в словах простых, искренних, лаконичных.

Любовь Фраермана к Дальнему Востоку и его способность ощущать этот край как свою родину всегда казалась нам удивительной, потому что Фраерман родился и вырос в Белоруссии и его юношеские впечатления были далеки от своеобразия Дальнего Востока, тамошнего размаха во всем, начиная от характеров людей и кончая просторами природы.

Он родился в 1891 году в бедной еврейской семье на Днепре, в Могилеве. Город был небольшой, улицы мощеные, обсажены каштанами и густо заселены на окраинах беднотой. Там он провел свое детство, там вырос, там кончил реальное училище. Семья их была многочисленна. Отцу приходилось заниматься всем, что давало какой-нибудь заработок: и поставкой дров, и лесными промыслами.

Уезжая в лесные деревни из города, отец брал с собой сына и оставлял мальчика на целое лето то в семье лесника, то в семье лесоруба или плотовщика. Мальчик жил крестьянской жизнью: возил сено с лесных высокотравных полян, валил лес в пущах, ходил с крестьянскими ребятишками в ночное, слушал пение лесных птиц, пробудившихся на рассвете, или вечернее пение девушек-батрачек,

гурьбой возвращавшихся с работы на помещичьих фольварках.

Но особенно интересно было слушать рассказы захожих косарей, которые каждое лето с приближением сенокосной поры, завернув свои косы в онучу, разбредались в поисках хоть малого заработка по всему обширному белорусскому краю. Иные из них, предлагая каждому помещику или кулаку свои свободные руки, заходили даже в Царство Польское, бывшее тогда Россией, и добирались из своих тихих лесных мест до самого моря.

Их рассказы будили в мальчике романтические мечты о странствиях, развивали воображение, приобщали к народной поэзии и живой народной речи.

Может быть, этими рассказами, этими детскими мечтами и можно объяснить склонность Фраермана к скитальничеству, не оставлявшему его и в дни молодости, и зрелости, и даже в пожилых годах. Он исходил пешком, изъездил почти всю Россию с севера на юг и с запада на восток до самых пределов Великого океана.

Он знал родную землю так хорошо, как, может быть, редкие из нас ее знали. И всюду он трудился на ней честно, разделяя ее судьбу от первых до последних дней.

В эпоху Гражданской войны, в 1920 году, он был в рядах красных партизан, сражался с японскими интервентами. В мирные дни строительства служил ей пером и своим талантом, работал в газетах во многих городах страны – в Сибири, в Батуми, в Тифлисе, в Москве.

В годы испытаний, в годы Отечественной войны он прошел этот великий путь вместе со всем народом. Вначале он был простым солдатом, – уже старый человек, он ушел добровольно в ополчение, – а потом был послан в армию, действующую на Центральном направлении, в армейскую газету «Защитник Отечества».

Как-то так случилось, что с 1923 года жизнь Фраермана очень тесно переплелась с моей, и весь его писательский путь прошел у меня на глазах. В жизни каждого писателя бывают годы спокойной работы, но бывают иногда годы, похожие на ослепительный взрыв его творчества.

Временем одного из таких подъемов в нашем кругу, помнится мне, было начало 1930-х годов. Это были годы шумных споров, непрерывной работы, писательской молодости и писательской дерзости.

Тогда уже все мы вошли в широкое русло литературной жизни, уже выпускали книги, но жили еще по-студенчески. Нас была дружная семья – Фраерман, Гайдар, я и еще несколько человек. Это было сродство людей, преданных своему писательскому делу. В общении выковывалась ясность взглядов, возникали смелые литературные планы, рождались новые книги, шло непрерывное формирование характеров, как будто сложившихся, но вечно юных.

Нас связывала и литература, и жизнь, и подлинная дружба, и общее веселье. Гайдар всегда приходил с новыми шуточными стихами.

После Дальнего Востока, после многих скитаний по разным местам России Фраерман нашел наконец свой постоянный, любимый уголок земли, так называемый Мещерский край – лесной просторный край к северу от Рязани. Он полюбил его всей душой. Действительно, он прекрасен и является, пожалуй, наилучшим выражением русской природы, с ее перелесками, поёмными приокскими лугами, озерами, с широкими закатами, дымом костров, блеском звезд над спящими деревнями, с ее простодушными талантливыми людьми – лесниками, паромщиками, пасечниками, мальчишками, плотниками, бакенщиками и рыбаками.

Каждое лето, осень и даже часть зимы Фраерман проводит в этих местах в селе Солотче, в бревенчатом живописном доме, построенном в конце XIX века известным русским гравером-художником Пожалостиным.

Постепенно Солотча и этот дом стали второй родиной и для нас, друзей Фраермана.

И все мы, где бы мы ни находились, куда бы нас ни забрасывала судьба, мечтали о Солотче. И не было года, когда туда, особенно по осени или ранней весной, не приезжали бы на рыбную ловлю, на охоту и для работы над новой книгой Гайдар, я или кто-либо другой из друзей Фраермана.

Едва только приближалась весна, как Гайдар, где бы он ни был в эту пору, шлет уже, бывало, нам письмо в Москву, полное зависти к скорому нашему отъезду в Солотчу. Письмо присылалось обыкновенно, разумеется, в шуточных стихах. Я приведу несколько строк из него:

Из этих теплых дальних стран,

Где снегу вовсе нет,

Рувим Исаич Фраерман,

Мы шлем тебе привет.

Придет пора – надев трусы

(Какая благодать),

Ты будешь целые часы

На речке пропадать,

Где в созерцательной тиши,

Премудр и одинок,

Сидишь и смотришь, как ерши

Тревожат поплавок…

А кончалось письмо обыкновенно тем, что Гайдар бросал Крым, Черное море и приезжал в Солотчу.

Старый дом и все окрестности Солотчи полны для нас особого обаяния.

Здесь были написаны многие книги, здесь вечно случались всякие веселые и невероятные истории, здесь в живописности и уюте сельского быта все мы жили простой и увлекательной жизнью.

Нигде мы так не погружались в самую гущу народной жизни, нигде не входили в такое непосредственное общение с природой, как там.

Ночевки в палатке вплоть до октября на глухих озерах и реках, дым костров, рассветы, заповедные реки, десятки друзей от мальчишек до древних стариков с их удивительными рассказами, рыбная ловля, цветущие безбрежные луга, крики птиц, волчий вой – все это погружало в необычайный мир – почти сказки и вместе с тем прекрасной реальности.

Мы с Фраерманом исходили многие сотни километров по Мещерскому краю, но ни он, ни я не можем сказать, положа руку на сердце, что мы его знаем. Каждый год он открывает перед нами новые свои красоты и становится все интересней, характерней вместе с движением времени нашей эпохи.

Невозможно припомнить и сосчитать, сколько ночей мы провели с Фраерманом то в палатках, то на сеновалах, то в избах, то просто на земле, на берегах озер и рек, в лесных чащах. Сколько было встреч и всяких случаев – то опасных, трагических, то смешных, сколько мы наслушались рассказов, к каким богатствам народного языка мы прикоснулись, сколько было спора, смеха и осенних ночей, когда особенно писалось в бревенчатом доме, где на стенах прозрачными каплями темного золота окаменела смола…

Писатель Фраерман неотделим от человека. И человек неотделим от писателя. Литература призвана создавать прекрасного человека, и к этому высокому делу Фраерман приложил свою умелую и добрую руку. Он щедро отдает свой талант величайшей задаче для каждого из нас – созданию счастливого и разумного человеческого общества.

1949

Константин Паустовский

Дикая собака динго, или Повесть о первой любви

I

Тонкая ле?са была спущена в воду под толстый корень, шевелившийся от каждого движения волны.

Девочка ловила форель.

Она сидела неподвижно на камне, и река обдавала ее шумом. Глаза ее были опущены вниз. Но взгляд их, утомленный блеском, рассеянным повсюду над водой, не был пристален. Она часто отводила его в сторону и устремляла вдаль, где круглые горы, осененные лесом, стояли над самой рекой.

Воздух был еще светел, и небо, стесненное горами, казалось среди них равниной, чуть озаренной закатом.

Но ни этот воздух, знакомый ей с первых дней жизни, ни это небо не привлекали ее сейчас.

Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей водой, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например австралийскую собаку динго. Потом ей хотелось еще быть пилотом и при этом немного петь.

И она запела. Сначала тихо, потом громче.

У нее был голос приятный для слуха. Но пусто было вокруг. Лишь водяная крыса, испуганная звуками ее песни, близко плеснулась возле корня и поплыла к камышам, волоча за собой в нору зеленую тростинку. Тростинка была длинна, и крыса трудилась напрасно, не в силах протащить ее сквозь густую речную траву.

Девочка с жалостью посмотрела на крысу и перестала петь. Потом поднялась, вытащив лесу из воды.

От взмаха ее руки крыса шмыгнула в тростник, а темная, в пятнах, форель, до того неподвижно стоявшая на светлой струе, подпрыгнула и ушла в глубину.

Девочка осталась одна. Она взглянула на солнце, которое было уже близко к закату и клонилось к вершине еловой горы. И, хотя было уже поздно, девочка не спешила уйти. Она медленно повернулась на камне и неторопливо зашагала вверх по тропинке, где навстречу ей по пологому склону горы спускался высокий лес.

Она вошла в него смело.

Шум воды, бегущей меж рядами камней, остался за ее спиной, и перед ней открылась тишина.

И в этой вековой тишине услышала она вдруг звук пионерского горна. Он прошелся по просеке, где, не шевеля ветвями, стояли старые пихты, и протрубил ей в уши, напомнив, что надо спешить.

Однако девочка не прибавила шагу. Обогнув круглое болотце, где росли желтые саранки, она наклонилась и острым сучком вырыла из земли вместе с корнями несколько бледных цветов. Руки ее уже были полны, когда позади раздался тихий шум шагов и голос, громко зовущий ее по имени:

– Таня!

Она обернулась. На просеке, возле высокой муравьиной кучи, стоял нанайский мальчик Филька и манил ее к себе рукой. Она подошла, дружелюбно глядя на него.

Возле Фильки на широком пне увидела она котелок, полный брусники. А сам Филька узким охотничьим ножом, сделанным из якутской стали, очищал от коры свежий березовый прут.

– Разве ты не слышала горна? – спросил он. – Почему же ты не спешишь?

Она ответила:

– Сегодня родительский день. Мать моя приехать не может – она в больнице на работе, – и в лагере меня никто не ждет. А почему ты не спешишь? – добавила она с улыбкой.

– Сегодня родительский день, – ответил он так же, как она, – и ко мне приехал из стойбища отец, я пошел его проводить до еловой сопки.

– Разве ты уже проводил его? Ведь это далеко.

– Нет, – произнес с достоинством Филька. – Зачем я буду его провожать, если он останется ночевать возле нашего лагеря у реки! Я выкупался за Большими камнями и пошел искать тебя. Я слышал, как ты громко пела.

Девочка посмотрела на него и засмеялась. А смуглое лицо Фильки потемнело еще больше.

– Но если ты не спешишь никуда, – сказал он, – то постоим тут немного. Я угощу тебя муравьиным соком.

– Ты уже угощал меня утром сырой рыбой.

– Да, но то была рыба, а это уже совсем другое. Попробуй! – Филька воткнул свой прут в самую середину муравьиной кучи.

И, склонившись над ней вдвоем, они подождали немного, пока тонкая ветка, очищенная от коры, не покрылась сплошь муравьями. Тогда Филька стряхнул их, слегка ударив веткой по кедру, и показал ее Тане. На блестящей заболони видны были капли муравьиной кислоты.

Он лизнул и дал попробовать Тане. Она тоже лизнула и сказала:

– Это очень вкусно. Я всегда любила муравьиный сок.

Она двинулась дальше, и Филька пошел с нею рядом, не отставая от нее ни на шаг.

Они молчали. Таня – потому, что любила думать понемногу обо всем и молчать всякий раз, когда входила в этот молчаливый лес. А Филька о таком чистейшем пустяке, как муравьиный сок, тоже не хотел говорить. Все же это был только сок, который она могла добывать и сама.

Так прошли они всю просеку, не сказав друг другу ни слова, и вышли на противоположный склон горы. И здесь, совсем близко, под каменным обрывом, все у той же самой реки, без устали спешившей к морю, увидели они свой лагерь – просторные палатки, стоявшие на поляне в ряд.

Из лагеря доносился шум. Взрослые, должно быть, уже уехали домой, и шумели одни только дети. Но голоса их были так сильны, что здесь, наверху, среди молчания серых морщинистых камней, Тане показалось, что где-то далеко гудит и качается лес.

– А ведь, никак, уже строятся на линейку, – сказала она. – Тебе бы следовало, Филька, прийти в лагерь раньше меня, потому что не посмеются ли над нами, что мы так часто приходим вместе?

«Вот уж про это ей бы не следовало говорить», – подумал с горькой обидой Филька.

И, схватившись за цепкий слойник, торчащий над обрывом, он прыгнул вниз на тропинку так далеко, что Тане стало страшно.

Но он не расшибся. И Таня бросилась бежать по другой тропинке, меж низких сосен, криво растущих на камнях.

Тропинка привела ее на дорогу, которая, точно река, выбегала из леса и, точно река, блеснула ей в глаза своими камнями и щебнем и прошумела длинным автобусом, полным людей. Это взрослые уезжали из лагеря в город. Автобус проехал мимо. Но девочка не проводила взглядом его колес, не посмотрела в его окна: она не ожидала увидеть в нем никого из родных.

Она пересекла дорогу и вбежала в лагерь, легко перескакивая через канавы и кочки, так как была проворна.

Дети встретили ее криком. Флаг на шесте похлопал ей прямо в лицо. Она стала в свой ряд, положив цветы на землю.

Вожатый Костя погрозил ей глазами и сказал:

– Таня Сабанеева, на линейку надо становиться вовремя. Смирно! На-пра-во равняйсь! Ощущайте локтем соседа.

Таня пошире раздвинула локти, подумав при этом: «Хорошо, если у тебя справа друзья. Хорошо, если они и слева. Хорошо, если они и там и тут».

Повернув голову направо, Таня увидела Фильку. После купания лицо его блестело, как камень, а галстук был темен от воды.

И вожатый сказал ему:

– Филька, какой же ты пионер, если каждый раз делаешь себе из галстука плавки!.. Не ври, не ври, пожалуйста! Я сам все знаю. Погоди, я уж поговорю с твоим отцом серьезно.

«Бедный Филька, – подумала Таня, – ему сегодня не везет».

Она смотрела все время направо. Налево же она не смотрела. Во-первых, потому, что было это не по правилам, во-вторых, потому, что там стояла толстая девочка Женя, которую она не предпочитала другим.

Ах, этот лагерь, где уже пятый год подряд проводит она свое лето! Почему-то сегодня он ей казался не таким веселым, как прежде. А ведь всегда она так любила просыпаться в палатке на заре, когда с тонких шипов ежевики капает на землю роса! Любила звук горна в лесу, ревущего, подобно изюбру, и стук барабанных палочек, и кислый муравьиный сок, и песни у костра, который она умела разводить лучше всех в отряде.

Что же сегодня случилось? Неужели эта бегущая к морю река навеяла на нее такие странные мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней! Куда хотелось ей плыть? Зачем понадобилась ей австралийская собака динго? Зачем она ей? Или это просто уходит от нее ее детство? Кто знает, когда уходит

оно!

Таня с удивлением думала об этом, стоя смирно на линейке, и думала об этом позже, сидя в столовой палатке за ужином. И только у костра, который поручили ей развести, она взяла себя в руки.

Она принесла из лесу тонкую березку, высохшую на земле после бури, и поставила ее посередине костра, а кругом искусно развела огонь.

Филька же окопал его и подождал, пока не займутся сучья.

И березка горела без искр, но с легким шумом, со всех сторон окруженная сумраком.

Дети из других звеньев приходили к костру любоваться. Приходил и вожатый Костя, и доктор с бритой головой, и даже сам начальник лагеря. Он спросил их, почему они не поют и не играют, раз у них такой красивый костер.

Дети спели одну песню, потом другую.

А Тане не хотелось петь.

Как прежде на воду, широко открытыми глазами смотрела она на огонь, тоже вечно подвижный и постоянно стремящийся вверх. И он, и он шумел о чем-то, навевая на душу неясные предчувствия.

Филька, который не мог видеть ее печальной, принес к костру свой котелок с брусникой, желая порадовать ее тем немногим, что у него было. Он угостил всех товарищей по звену, но Тане выбрал ягоды самые крупные. Они были спелы и прохладны, и Таня съела их с удовольствием. А Филька, видя ее снова веселой, начал рассказывать о медведях, потому что отец его был охотник. И кто же другой мог так хорошо рассказать о них.

Но Таня прервала его.

– Я родилась здесь, в этом краю и в этом городе, и нигде не бывала в другом месте, – сказала она, – но всегда удивлялась, почему здесь так много говорят о

медведях. Постоянно о медведях…

– Потому что кругом тайга, а в тайге водится много медведей, – ответила толстая девочка Женя, у которой не было никакой фантазии, но которая всему умела находить верную причину.

Таня задумчиво посмотрела на нее и спросила у Фильки, не может ли он что-нибудь рассказать об австралийской собаке динго.

Но о дикой собаке динго Филька ничего не знал. Он мог бы рассказать о злых нартовых[2 - На?ртовые (собаки, олени) – запрягаемые в нарты, узкие и длинные сани, употребляемые на Севере для езды.] собаках, о лайках, но об австралийской собаке ему ничего не было известно. Не знали о ней и другие дети.

И толстая девочка Женя спросила:

– А скажи, пожалуйста, Таня, зачем тебе австралийская собака динго?

Но Таня ничего не ответила, потому что в самом деле ничего на это не могла сказать. Она только вздохнула.

Словно от этого тихого вздоха, березка, горевшая до того так ровно и ярко, вдруг закачалась, как живая, и рухнула, рассыпалась пеплом. В кругу, где сидела Таня, стало тесно. Мрак подступил близко. Все зашумели. И тотчас же из темноты раздался голос, которого никто не знал. Это не был голос вожатого Кости.

Он сказал:

– Ай-ай, друга, чего кричишь?

Чья-то темная большая рука пронесла над головой Фильки целую охапку сучьев и бросила их в костер. Это были еловые лапы, которые дают много света и искр, с гудением уносящихся вверх. И там, наверху, они гаснут не скоро, они горят и мерцают, точно целые горсти звезд.

Дети вскочили на ноги, а к костру подсел человек. Он был с виду мал, носил кожаные наколенники, а на голове у него была берестяная шляпа.

– Это Филькин отец, охотник! – закричала Таня. – Он ночует сегодня тут, рядом с нашим лагерем. Я его хорошо знаю.

Охотник подсел к Тане поближе, закивал ей и улыбнулся. Улыбнулся он и другим детям, показав свои широкие зубы, источенные длинным мундштуком медной трубочки, которую он крепко сжимал в руке. Каждую минуту он подносил к своей трубочке уголек и сопел ею, ничего никому не говоря. Но это сопение, этот тихий и мирный звук говорил всем, кто хотел его слушать, что в голове этого странного охотника нет никаких дурных мыслей. И поэтому, когда к костру подошел вожатый Костя и спросил, почему у них в лагере находится посторонний человек, то дети закричали все вместе:

– Не трогай его, Костя, это Филькин отец, пусть посидит у нашего костра! Нам с ним весело!

– Ага, так это Филькин отец, – сказал Костя. – Отлично! Я узнаю его. Но в таком случае я должен сообщить вам, товарищ охотник, что сын ваш Филька постоянно ест сырую рыбу и угощает ею других, например Таню Сабанееву. Это одно. А во-вторых, из своего пионерского галстука он делает себе плавки, купается возле Больших камней, что категорически было ему запрещено.

Сказав это, Костя ушел к другим кострам, которые ярко горели на поляне. А так как охотник не все понял из того, что сказал Костя, то посмотрел ему вслед с уважением и на всякий случай покачал головой.

– Филька, – сказал он, – я живу в стойбище и охочусь на зверя и плачу деньги для того, чтобы ты жил в городе и учился и был всегда сыт. Но что же из тебя выйдет, если за один только день ты сделал так много зла, что на тебя жалуются начальники? Вот тебе за это ремень, иди в лес и приведи сюда моего оленя. Он пасется близко отсюда. Я переночую у вашего костра.

И он дал Фильке ремень, сделанный из лосиной кожи, такой длинный, что его можно было закинуть на вершину самого высокого кедра.

Филька поднялся на ноги, глядя на товарищей, – не разделит ли кто-нибудь с ним его наказание. Тане стало жалко его: ведь это ее угощал он утром сырой рыбой, а вечером муравьиным соком и, может быть, ради нее купался у Больших камней.

Она вскочила с земли и сказала:

– Филька, пойдем. Мы поймаем оленя и приведем его твоему отцу.

И они побежали к лесу, который встретил их по-прежнему молчаливо. Скрещенные тени лежали на мху между елями, и волчьи ягоды на кустах блестели от света звезд. Олень стоял тут же, близко, под пихтой, и объедал мох, свисавший с ее ветвей. Олень был так смирен, что Фильке не пришлось даже развернуть аркан, чтобы набросить его на рога. Таня взяла оленя за повод и по росистой траве вывела его на опушку, а Филька привел к костру.

Охотник засмеялся, увидев детей у костра с оленем. Он предложил Тане свою трубочку, чтобы она покурила, так как он был добрый человек.

Но дети громко засмеялись. А Филька строго сказал ему:

– Отец, пионеры не курят, им нельзя курить.

Охотник был очень удивлен. Но недаром же он платит деньги за сына, недаром же сын живет в городе, ходит в школу и носит на шее красный платок. Должен же он знать такие вещи, о которых не знает отец. И охотник закурил сам, положив руку на плечо Тане. А олень его подышал ей в лицо и прикоснулся к ней рогами, которые тоже могли быть нежными, хотя уже и давно затвердели.

Таня опустилась на землю рядом с ним почти счастливая.

На поляне всюду горели костры, вокруг костров пели дети, и доктор ходил среди детей, беспокоясь об их здоровье.

И Таня с удивлением думала: «В самом деле, разве это не лучше австралийской собаки динго?»

Почему же ей все-таки хочется плыть по реке, почему все звенит в ушах голос ее струй, бьющихся о камни, и так хочется в жизни перемен?..

II

Саранки, которые Таня вчера острым сучком вырыла из земли, сохранились наутро прекрасно. Она укутала их корни мокрой травой и мхом, завернула стебли в свежую бересту и когда взяла цветы под мышку, а на спину повесила свой вещевой мешок, то сразу превратилась в путника, готового в далекую дорогу.

Перемены оказались неожиданно близки. Лагерь решили закрыть, а детей отвезти в город, потому что доктор нашел, что ночная роса очень вредная для здоровья. Как-никак ведь была уже осень.

И верно, меньше стало летних трав, и вот уже целую неделю как по утрам палатки покрывались инеем, а на листьях в лесу до полудня висели капли росы, все до одной ядовитые, точно змеи.

Однако путь, который лежал перед Таней, не был далеким путем. Собственно, это была та самая дорога, по которой вчера проехал с шумом автобус. Хотя она выбегала из лесу и убегала в лес и была совсем новая, однако на ней сегодня стояла пыль – кремнистая пыль, которую даже старые пихты, растущие вдоль обочин, не могли никак унять. Они только отмахивались от нее своими синими лапами.

Таня отлично видела это, шагая позади всех в золотистом венце из пыли. А рядом с ней шел Филька со своим отцом, и самым последним – олень. Он тоже не любил пыли и громких медных труб, в которые каждые полчаса трубили лагерные музыканты, шагавшие за возами с поклажей. И когда мимо проехали на танках красноармейцы и крикнули детям «ура», он так сильно натянул повод, что вырвал его из рук охотника и скрылся в лесу между стволами высоких сосен вместе со своим вьюком. А ведь именно в этом вьюке были самые дорогие вещи Фильки и Тани.

Оленя пришлось искать.

Они нашли его среди тонких берез, как и он, дрожавших от страха.

Долго не хотел олень выходить из лесу. Но когда наконец охотник вывел его снова на дорогу, музыки уже не было слышно и пыль улеглась обратно на те же самые камни, с каких она поднялась. И пихты больше не махали ветвями.

Лагерь ушел далеко вперед.

Не что другое, как именно это обстоятельство, послужило причиной тому, что, войдя в город с холщовой сумочкой за плечами, в тапках, разбитых об острый щебень дороги, Таня у себя дома никого не нашла.

Мать, не дождавшись, ушла на работу в больницу, как уходила она постоянно, а старая нянька полоскала на речке белье. Ворота же были открыты.

И Таня вошла в свой двор.

Но много ли путнику нужно? Напиться холодной воды, посидеть на траве, опустив руки на землю. Вот под забором трава. Она стала тоньше, верхушки ее уже сожжены ночным инеем, а все же под вечер и в ней трещат кузнечики, невесть как попавшие в город. А вот и вода. Правда, она не бежит, не струится. Она зиму и лето стоит посреди двора в бочке, прикованная к старым саням.

Таня открыла затычку и дала напиться цветам, смочив их корни, укутанные белым мхом. Потом напилась сама и подошла к деревьям, растущим направо от крыльца. Широкая ель и береза с тонкими ветвями стояли тихо рядом. Ель еще была хороша. Тени ее хватало на полдвора и больше. Но береза! Она уже начинала желтеть.

Таня потрогала ее белый ствол, весь усеянный наростами.

«Что это? Уже осень?» – подумала она.

И береза уронила сморщенный лист в ее подставленные ладони.

«Да, да, – сказала себе Таня, – это в самом деле осень. Однако ирисы под окном еще стоят. Может быть, и мои саранки постоят немного. Но где же все наши?»

В это время услышала она рядом с собой тихую возню и ворчанье. Оказалось, что это старая кошка Казак привела своих котят и заставила их попрыгать перед Таней. Потом прибежала утка, полоща в клюве червя.

Котята за лето выросли, и самый маленький из них, по кличке Орел, уже не боялся ни червей, ни утки.

Затем в калитке показалась собака. Была она ничтожна ростом, с большой головой, и было ей лет десять по меньшей мере.

Заметив Таню, она остановилась в воротах, и в старых, слезящихся глазах ее засветился стыд: ей было совестно, что не она первая узнала о возвращении Тани. Невольным ее движением было уйти назад, вовсе не заметить Тани. Ведь бывают же и такие случаи в собачьей жизни. Она повернула уже было к водовозке, не вильнув даже хвостом. Но все ее хитрые умыслы разлетелись прахом в тот самый миг, как только Таня позвала ее по имени:

– Тигр!

И тотчас же собака подпрыгнула на своих коротких ногах и бросилась к Тане, в ее зажатые колени.

Таня долго гладила ее голову, покрытую короткой жесткой шерстью, где под кожей нащупывались уже старческие бугры.

Да, всё это были уже старые и слабые существа, хотя имена их были грозны.

Таня смотрела на собаку с любовью.

А когда подняла глаза, то увидела няньку, тоже старуху, с глубокими морщинками, со взором, уже потускневшим от долгой жизни.

Поставив ведро с бельем на землю, нянька поцеловала Таню и сказала:

– Какая ты черная стала, не лучше твоего Фильки. А мамы-то ведь нету дома. Ждала, ждала – не дождалась, на работу ушла. Одни, значит, мы с тобою

остались. Мы завсегда одни. Хочешь, самовар поставлю? А то поешь чего? Уж не знаю, чем они вас там в лагере кормят. Поди, насилу выплюнешь.

Нет, Таня не хотела есть.

Она лишь отнесла в дом свою сумочку, походила по тихим комнатам, потрогала книги на полке.

Да, нянька была права. Как часто Таня оставалась одна хозяином своего досуга и желаний! Но только она одна знала, как эта свобода тяготила ее. В доме нет ни сестер, ни братьев. И мамы очень часто нет. Грудь стесняется чувством горьким и нежным, вызывающим слезы на глазах.

Откуда возникает оно? Запах ли это рук и лица матери, или запах ее одежды, или это ее взгляд, смягченный постоянной заботой, который Таня носит в своей памяти повсюду и всегда?

Раньше, каждый раз как мать собиралась из дому, Таня начинала плакать, но теперь только думала о ней с непрестанной нежностью.

Она не спросила у няньки, скоро ли вернется мать. Она только потрогала ее платье в шкафу, посидела на ее кровати и снова вышла во двор. Надо же было наконец как-нибудь устроить цветы, которые она вырыла в лесу, на болотце.

– Но ведь осень, Таня, – сказала нянька. – Какие теперь цветы?

– Ну какая же у нас осень! Посмотри! – ответила Таня.

Осень, как всегда, проходила над городом без тумана. Окрестные горы, как весной, были темны от хвои, и долго не склонялось над лесами солнце, и долго во дворах под окнами цвели большие, без запаха цветы.

В самом деле, может быть, и саранки постоят еще немного. И если засохнут, то все же корни их будут в земле.

И Таня широким ножом вырыла в земле несколько ямок на грядке и подперла стебли саранок палочками.

Тигр же ходил меж грядок и обнюхивал их. А обнюхав, поднял свою большую голову от земли и посмотрел вверх, на забор. Посмотрела туда и Таня.

На заборе сидел Филька. Он был уже разут, в одной майке, без галстука, и лицо его было возбужденно.

– Таня, – крикнул он, – беги скорее к нам! Отец подарил мне настоящих ездовых собак!

Но Таня не перестала копать, руки ее были черны от земли, а лицо лоснилось.

– Этого быть не может, – сказала она, – ты обманываешь меня. Когда же успел он это сделать? Ведь мы вместе пришли сегодня в город.

– Нет, это правда, – возразил Филька. – Он привел их в город еще три дня назад и держал у хозяйки в сарае. Он хотел мне сделать подарок, и он зовет тебя посмотреть.

Таня снизу еще раз внимательно поглядела на Фильку.

В конце концов, это могло быть правдой. Ведь дарят же детям вещи, о которых они мечтают. И дарят им это отцы – как часто читала об этом Таня.

Она бросила нож на грядку и вышла за ворота на улицу.

Филька жил через двор. Ворота его были закрыты.

Но он широко открыл их перед Таней, и она увидела собак.

Возле них на земле сидел Филькин отец и курил. Трубочка его хрипела так же громко, как в лесу у костра, лицо его было приветливо. Олень стоял привязанный к забору. А собаки лежали все вместе, с хвостами, скрученными на спине в кольцо, настоящие лайки. Не поднимая острых морд, протянутых на земле, они посмотрели на Таню волчьим взглядом.

Охотник закрыл ее от зверей.

– Они злые, друга, – предупредил он.

А Филька добавил:

– Это почище австралийской собаки динго!

– Я знаю этих собак отлично, – сказала Таня. – А все-таки это не дикая собака динго. Запрягите их, пожалуйста.

Охотник был озадачен немного. Запрягать собак летом? Эта забава была так неразумна! Но и сын попросил его это сделать. И охотник достал из сарая легкую нарту и упряжь и поставил собак своих на ноги. Они поднялись ворча.

А Таня любовалась их нарядной упряжью, обитой сукном и кожей. Султанчики на их головах развевались, подобно белым метелкам повейника.

– Это богатый подарок, – сказала Таня.

Охотник был рад похвале своей отцовской щедрости, хотя произнесла ее только девочка.

Они посидели на нарте, и Таня подержала каюр[3 - Чаще это слово употребляется в другом значении: погонщик запряженных в нарты собак или оленей.] – длинную палку из ясеня, окованную на конце железом.

Собаки всё вертелись, налегая на задние ноги, – собирались бежать, тянуть нарту по голой земле. Охотник дал им за усердие юколу, которую достал из мешка. Он вынул еще из-за пазухи две другие сушеные рыбки, две крошечные корюшки, светящиеся на солнце, протянул их сыну и Тане. Филька начал громко грызть, а Таня отказалась. Но кончилось тем, что и она съела свою рыбку.

Охотник стал собираться в дорогу. Пора было уже покинуть этот город, где олень его целый день голодал. Он загнал собак в сарай и распряг там нарту. Потом отвязал от забора оленя и дал ему на ладони соли. Вьюки же были готовы давно.

За воротами охотник попрощался с детьми.

Он подал Тане руку, одну, потом другую, как подают на прощание соседу, и просил по снегу приехать на собаках в гости.

Сына же он обнял за плечи.

– Будь, если можешь, – сказал он, – добрым охотником и ученым. – И, вспомнив, должно быть, жалобы начальника на сына, добавил в раздумье: – И носи свой платок на шее, как надо.

Вот он уже подошел к повороту, ведя оленя в поводу, и обернулся. Лицо его было смугло, сделано будто из дерева, но и издали оно казалось приветливым. И Тане было жалко, что он так скоро исчез.

– Хороший у тебя отец, Филька, – сказала она в раздумье.

– Да, я его люблю, когда он не дерется.

– Разве он дерется когда-нибудь?

– Очень редко и лишь тогда, когда бывает пьян.

– Вот как! – Таня покачала головой.

– А твой разве никогда не дрался? И где он у тебя? Я его никогда не видел.

Таня посмотрела Фильке в глаза – не заметит ли она в них любопытства или усмешки. Она, кажется, никогда не говорила с ним о своем отце. Но Филька смотрел прямо Тане в лицо, и глаза его выражали одно лишь простодушие.

– Никогда, – сказала она, – он не дрался.

– Тогда ты должна любить его.

– Нет, я не люблю его, – ответила Таня.

– Во-от как! – удивился, в свою очередь, Филька. И, помолчав немного, тронул Таню за рукав. – Почему? – спросил он.

Таня нахмурилась.

И тотчас же у Фильки все слова кончились, словно ему тут же отрезали язык. И казалось, никогда он уже больше не спросит ее ни о чем.

Но Таня внезапно покраснела:

– Я его не знаю совсем.

– Он разве умер?

Таня медленно покачала головой.

– Так где же он?

– Далеко, очень далеко. Может быть, за океаном.

– В Америке, значит?

Таня кивнула.

– Я угадал!.. В Америке? – повторил Филька.

Таня медленно повела головой справа налево.

– Так где же он? – спросил Филька.

Толстые губы Фильки были открыты. По правде сказать, Таня поразила его.

– Ты знаешь, где Алжир и Тунис? – задала она вопрос.

– Это я знаю. В Африке. Он, значит, там?

Но Таня снова отрицательно покачала головой, на этот раз более печально, чем прежде:

– Нет, Филька. Ты знаешь, есть такая страна – Маросейка.

– Маросейка? – повторил за ней Филька задумчиво. Это имя понравилось ему. – Должно быть, красивая страна Маросейка.

– Да, Маросейка, – тихо сказала Таня, – дом номер сорок, квартира пятьдесят три. Он там.

И она исчезла в своем дворе.

А Филька остался на улице один. Он все больше удивлялся Тане. По совести говоря, он был совершенно сбит с толку.

– Маросейка, – сказал он.

Может быть, это остров, который он за это лето забыл? Эти проклятые острова никогда не держались в его памяти. В конце концов, он был лишь простой школьник, мальчик, родившийся в глухом лесу, в кожаном шалаше зверолова. И к чему ему острова!

III

Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто это была вовсе не старая вода, запертая в гнилой бочке, а маленький водопад, только что родившийся высоко в горах под камнями.

Голос его был свеж и полон благодарности к этой девочке, которая одним движением руки освободила его и предоставила возможность бежать куда угодно. Он громко звенел ей в уши и так красиво сворачивал в воздухе свою струю, может быть, из одного только желания обратить ее внимание на себя.

А Таня вовсе не слышала, не замечала его.

Держа деревянную затычку в руке, она думала об отце. Разговор с Филькой сильно встревожил ее память.

Но трудно думать о человеке, которого никогда не видела и о котором ничего не помнишь, кроме того, что он твой отец и живет где-то далеко, в Москве, на Маросейке, дом номер сорок, квартира пятьдесят три. В таком случае можно думать только о себе. А что касается себя, то Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его, не может любить да и не должна. Ах, она знает все отлично! Он полюбил другую женщину, он оставил мать, он ушел от них много лет назад, и, может быть, у него есть уже другая дочь, другие дети. Что же он тогда для Тани? И пусть мать не говорит о нем только одно хорошее. Это ведь гордость, не больше. Но и ей, Тане, доступна она. Разве не из гордости она всегда молчит о нем? А если и приходится вымолвить несколько слов, то разве сердце ее при этом не разрывается на части?

Так думала Таня, а вода из бочки все текла, текла, маленький водопад все шумел и прыгал, оставленный безо всякого внимания. Давно наполнил он жестяную лейку Тани и бежал по земле, теперь уже никого не боясь. И, добежав до Тани, притронулся к ее ногам. Но это не заставило ее обратить на него внимание. Тогда он побежал дальше, к грядке с цветами, сердясь и шелестя по-змеиному меж черных камешков, валявшихся повсюду на дорожке. И лишь крики няньки вывели Таню из раздумья.

Старуха стояла на крыльце и кричала:

– Чего балуешься? Всю воду выпустила! И сама вымокла. Посмотри только на себя! Или не жалко тебе маминых денег? Ведь мы за воду деньги платим!

Таня посмотрела на себя. В самом деле, руки ее были в земле, тапочки изорваны камнями, а чулки мокры от воды.

Она показала их няне. И старуха перестала кричать, а только всплеснула руками. Она принесла ей из колодца свежей воды, чтобы помыться.

Вода была холодная. И пока Таня смывала пыль и грязь, нянька помаленьку ворчала.

– Растешь ты, как я погляжу, быстро. Вот уж пятнадцатый идет, – говорила она, – а все никак в свое положение не придешь. Думная ты уж очень.

– Это что же значит? – спросила Таня. – Умная?

– Да не умная, а думаешь много, отчего и подуравей выходишь. Иди, иди, сухие чулки надень.

У нее был свой особый язык, у этой старухи с жилистой спиной и твердыми, жилистыми руками, которыми она так часто умывала Таню в детстве.

Сняв на пороге мокрую обувь, Таня вошла в свой дом босиком.

Она пригрела ноги на ковре матери, на дешевом коврике из оленьей шкуры, вытертой в разных местах, и засунула руки под подушку, чтобы пригреть и их. Вода из колодца была действительно холодная. Но еще холодней показалась Тане твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами.

Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем – читанное уже несколько раз письмо.

Что это?

Мать никогда не прятала под подушку своих писем.

Таня посмотрела на конверт. Письмо было к матери от отца. Таня узнала это по тому, как сильно стукнуло ее сердце, и еще по тому, что внизу прочла она адрес отца. Значит, он очень боялся, что письмо не дойдет, если на самом краю написал так старательно: «Маросейка, дом № 40, квартира 53».

Таня положила письмо на постель и, босая, прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате. Потом взяла и прочла.

«Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, письма мои не доходят, ведь вы так далеко живете – совсем на другом краю света. Моя давнишняя мечта наконец исполняется: меня назначили на Дальний Восток.

Буду служить как раз в вашем городе. Вылетаем на самолете втроем: с Надеждой Петровной и Колей. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Во Владивостоке сядем на пароход. Ждите нас первого числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней. Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни – у тебя, у меня, у Нади, – не в этом я виноват перед Таней. Хотя заботы о ней никогда не покидали меня, с первого дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал. Да и она мне тоже очень редко писала. И даже в тех редких письмах, когда она только научилась писать, когда рука ее с трудом выводила по три слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся – вот что меня немного страшит. Ведь ей было только восемь месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню…»

А Таня ничего не помнила. Она посмотрела на свои босые ноги, смуглые до самых колен, с гладкой кожей, с крутым сводом, подпирающим легкую ступню. На них так удобно стоять!

Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе! Ведь даже посеяв горох близ дороги, человек приходит проведать его по утрам и ликует, видя всходы поднявшимися хоть на самую малость.

Таня горько заплакала.

А поплакав, ощутила успокоение, и радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда.

Ведь это же отец приезжает!

Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки на пол. Потом легла ничком и так лежала долго, смеясь потихоньку и плача, пока не вспомнила вдруг, что

вовсе не любит отца. Куда же исчезла ее гордость? Не этот ли мальчик Коля отнял у нее отцовскую любовь?

– А все-таки я ненавижу их, – сказала она.

И снова, то отливая, то приливая, овладевала ее сердцем обида.

Таня вскочила на колени и с силой стукнула кулаком по раме.

Окно раскрылось под ее ударом, и Таня снова увидела Фильку – в третий раз за этот день.

Нет, видно, в сердце его ни тумана, ни обиды, какую ощущала в себе Таня.

Он сидел на завалинке и держал на коленях атлас.

– Нет такой страны Маросейки, – сказал он. – Есть далекая страна Марокко, есть остров Майорка. А Маросейка – это не остров, не полуостров, не материк. Зачем ты обманываешь меня?

Таня смотрела на Фильку, будто не видя его, будто глядела сквозь него на песок.

– Молчи, молчи, Филька, – сказала она. – Все равно не люблю.

– Разве я обидел тебя чем-нибудь? – спросил Филька.

Руки его опустились, как только заметил он еще не остывшие на ресницах Тани слезы. Душевная слабость охватила его. И так как Фильке солгать не стоило никакого труда, как и сказать правду, то он хлопнул ладонью по атласу и воскликнул:

– Есть такая страна Маросейка! Есть! Этот проклятый атлас никуда не годится. Он совсем неполный. Я даже отлично помню, как учитель говорил нам о ней.

Таня будто только сейчас услышала Фильку. И его простодушная ложь вернула ей покой.

«Вот кто будет мне настоящим другом, – решила она. – Ни на кого я не променяю его. Разве не делится он со мной всем, что у него есть, даже самым малым?»

– Филька, – сказала она, – я не о тебе говорила. Я говорила о другом мальчике, которого зовут Коля. Ты прости меня.

А Филька простил уже давно, едва только с губ ее слетело первое слово, сказанное более ласково, чем другие.

– Если это о другом, – сказал он, – то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако почему ты его не любипть?

Таня не ответила сразу, но, помолчав немного, спросила:

– Как, по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?

– Должен, – ответил Филька твердо. – Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда вспомни обо мне, если потребуется тебе крепкая рука, или аркан, которым ловят оленей, или палка, которой я научился владеть хорошо, охотясь в тайге за дикушами.

– Но ведь ты его совсем не знаешь, за что же ты будешь его бить?

– Но я знаю тебя, – возразил Филька.

И эта мысль – платить за обиду не слезами, а ударом – показалась ей в этот момент не глупой, а вполне ясной, лишенной всякой смутности, какую она ощущала в себе. Она и сама умела отлично сбивать с деревьев дикуш, метко кидая в этих смирных птиц тяжелые камни и сучья.

Но через минуту она подумала: «Я, кажется, делаюсь злой».

А Филька вдруг шагнул от окна налево, в смущении глядя поверх Таниного плеча, и, прижав свой атлас локтем, неожиданно кинулся со двора.

Близко за Таней стояла мать. Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате, она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко к глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду-две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее – мать никогда не умела заботиться о себе, – и худые, слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами. И в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она поцеловала мать осторожно, избегая притронуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд.

– Мама! – позвала Таня.

Мать обняла ее.

– Я торопилась домой, – сказала она. – Я соскучилась по тебе, Танюша.

Она оглядела дочь долгим и пристальным взглядом. Сначала взглянула на волосы – они выцвели сильно, стали совсем как сталь; потом посмотрела в лицо – оно было горячим, и на коже темнел загар.

«Ей было в лагере хорошо», – подумала мать.

Затем поглядела на ноги и удивилась, что Таня сидит босая. Тогда лишь увидела она беспорядок: подушки, валявшиеся на полу, смятую кровать и на кровати письмо, вынутое из конверта.

И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель?

– Ты прочла это без меня, Таня? – тихо спросила мать.

Таня безмолвно опустила голову.

– Ты должна быть рада, Таня.

Но и на этот раз с ее губ не слетело ни звука.

А мать терпеливо ждала.

– Мама, этот мальчик мне брат? – спросила Таня.

– Нет, – ответила мать. – Он чужой. Он только племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит его и жалеет, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Папа – добрый человек. Я всегда говорила тебе об этом.

– Значит, он мне чужой, он мне даже не брат, – сказала Таня, наклонив голову еще ниже.

Мать тихим движением подняла ее лицо и поцеловала два раза:

– Танюша, милая, мы с тобой поговорим. Мы обо всем поговорим. Ты встретишь их, Таня, и увидишь сама. Отец будет рад. Ты ведь пойдешь на пристань, правда?

– А ты, мама?

Но мать отвернулась от ее внимательных глаз.

– Я, Таня, не могу. Ты ведь знаешь, мне всегда так некогда.

И, отвернувшись, она не видела, а только почувствовала, как Таня спрятала голову под ее слабую руку и крепко прижалась к ней.

– Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой. Ни с кем никогда, никого мне не нужно. Я не пойду их встречать.

IV

Это было удивительно, но цветы, которые Таня высадила на грядку, еще жили в то утро, когда должен был приехать отец.

Сердитый ли ручеек, вылившийся из бочки, так хорошо омыл их корни, или они просто были живучи, как многие цветы на Севере, который не дает им запаха, хотя и оставляет долго жить, но, во всяком случае, они держались на своих высоких ножках, когда Таня взглянула на них. Она решила их никому не отдавать.

Она прогнала утку, усевшуюся среди цветов на грядке, и посмотрела вверх, на каланчу. Деревянная, она царила над этим городом, где по дворам на заре распевали лесные птицы. На ней еще не поднимали сигнального флага. Значит, парохода еще не было видно. Он мог и опоздать. Но Тане было мало дела до флага. Она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник: начинается новый учебный год.

Но до школы еще так долго ждать!

Зачем же она поднялась так рано?

«Что же делать, если не спится», – сказала бы она матери, если бы та проснулась от скрипа двери в доме.

«Что же я могу поделать, – повторила б она, – если сегодня я вовсе не могу заснуть».

Но придет ли когда-нибудь пароход? Существует ли он на самом деле? Или это призрак, для которого вовсе нет никакого места, никакого срока и который плывет сейчас, может быть, по другой реке и другой туман стоит за его кормой?

Здесь, во дворе, тоже туманно немного. Еще ветви березы блестят от капель ночной сырости, ствол влажен – дерево еще не очнулось ото сна.

Слишком рано вышла Таня из дому, очень рано. Однако слышны уже у переулка шаги, они топчут траву, они стучат по земле. Кто-то спешит уж на пристань. Брат ли идет встречать сестру, или отец спешит обнять сына, или просто рыбак ждет с пароходом вестей? А может быть, это и Филька торопится в последний раз перед школой половить у пристани ершей?

Таня присела на скамью у ворот.

Она слушала. И слух Тани чутко бодрствовал среди сонной травы, дремлющей под ее ногами, и сонных ветвей, дремлющих над ее головой.

И далекий свисток, такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его, коснулся слуха Тани. Это свистел пароход за Черным мысом, у маяка.

Таня открыла калитку и вышла и снова вошла во двор, постояв неподвижно у цветов. Не сорвать ли их все-таки, пока они еще живы и могут доставить радость отцу? Это ведь все, что у нее есть.

И Таня сорвала цветы – саранки и ирисы, еще прежде выращенные ею с заботой.

Затем она позвала собаку. Тигр охотно вышел с ней на улицу. Они прошли через весь город, который еще не совсем проснулся. Только одна каланча никогда не знала сна. Ее крошечная дверь, похожая на бойницу, была открыта навстречу ветру. И флаг был поднят и тянулся все в одну сторону – к реке.

К реке направлялись и прохожие, спешившие на пристань. Таня на секунду остановилась у спуска, чтобы сверху посмотреть на родную реку. О, какая светлая она, хотя темные от хвои горы рядом стоят, на берегу! О, какая большая! Даже тень от этих гор не может ее закрыть. Не по ней ли хотелось плыть Тане далеко в иные страны, где обитает дикая собака динго?

А пароход подходил все ближе. Черный, кряжистый, точно скала, он все же казался малым для этой реки, терялся в ее светлой равнине, хотя рев его, подобно урагану, сотрясал кедры на горах.

Таня стремглав бросилась по спуску вниз. Пароход уже отдавал причалы, чуть навалившись на пристань, полную народу. На пристани тесно от бочек. Они повсюду – лежат и стоят, точно кубики лото, в которое только что играли великаны.

С парохода махали платками. Не ей ли это? Она побледнела. Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху. Ах, это просто забавно! Как в толпе она узнает отца, которого никогда в своей жизни не видала? И как он узнает ее? Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. Зачем поддалась она невольному желанию сердца, которое теперь так стучит и не знает, что ему делать: просто умереть или стучать еще сильней?

И вот стоит она теперь с жалкими цветами возле бочек, и старая собака лижет ее ноги, не в силах ей ничем помочь.

А прохожие проходят мимо.

Может быть, вот они – их трое: он в шляпе, блестящей от ворса, женщина стара, а мальчик высок и худ и в достаточной мере противен.

Но нет, они проходят мимо, никуда не глядят, никого не ожидая встретить.

Или, может быть, вот они – их тоже трое: он толст, в кепке из толстого сукна, она молода и некрасива, а мальчик тоже толст и противен еще в большей мере.

Да, кажется, они.

Таня шагнула вперед. Но взгляд человека был сух и недолог, а толстый мальчик показал рукой на цветы и спросил:

– Ты продаешь их?

Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону. Она не вскрикнула. Она только спряталась за бочки и здесь простояла до самого конца. Никого уже не было на пристани. Не гремели доски под шагами. Все ушли. Чего стоять? Они просто не приехали сегодня.

Таня вышла из-за бочек. Уже матросы отправились в город, и мимо прошли санитары с носилками. Они уходили последними. Таня пошла с ними рядом. На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара. Однако он был в сознании и, боясь вывалиться, крепко держался за края носилок. От этого усилия или, может быть, от страха смущенная улыбка бродила на его губах.

– Что с ним? – спросила Таня.

– На пароходе заболел, малярия, – коротко ответил санитар.

Заметив Таню, идущую рядом, мальчик подавил свой страх, лег прямо и долгим, немного воспаленным взглядом посмотрел на Танино лицо.

– Ты плакала недавно? – спросил он вдруг.

Таня закрыла цветами свой рот. Она прижала их к лицу, словно эти несчастные саранки имели когда-нибудь приятный запах. Но что может знать этот больной мальчик о запахе северных цветов?

– Ты плакала, – твердо повторил он снова.

– Что ты, что ты! Тебе кажется это, – ответила Таня, кладя к нему на носилки цветы. – Я не плакала. Это какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песком.

И человек, последним сбежавший с трапа на пристань, уже никого не увидел, кроме одинокой девочки, печально поднимающейся в гору.

V

Этот первый день в школе, радостный для всех других детей, был тяжелым днем для Тани. Она вошла одна на школьный двор, вытоптанный детскими ногами.

Сторож уже отзвонил.

Она толкнула тяжелую дверь. В коридоре, как и на дворе, было светло, пусто, тихо. Неужели она опоздала?

– Нет, – сказал ей сторож, – беги скорей. Учителя еще не расходились по классам.

Но она не в силах была бежать. Медленно, точно взбиралась на крутизну, шла она по длинному, натертому воском коридору, а над ее головой висели плакаты. Во все десять огромных окон освещало их солнце, не утаивая ни единой запятой.

«Ребята, поздравляем вас с началом нового года. Добро пожаловать! Будем учиться отлично».

Маленькая девочка с тонкими косичками, завитыми на кончике, пробежала мимо Тани и на бегу обернулась к ней.

– Их бин, ду бист, эр ист! – прокричала она по-немецки и показала ей язык.

Какие тонкие проворные ноги у этой крошечной девочки! Не прежняя ли это Таня, маленькая Таня, показала себе самой язык?

Но девочка уже исчезла за поворотом, а Таня остановилась у высоких дверей. Тут был ее новый класс.

Дверь была закрыта, и в классе шумели.

И этот шум, как милый шум реки и деревьев, с ранних лет окружавший ее, привел в порядок ее мысли.

Она, словно мирясь сама с собой, сказала:

– Ну ладно, забудем всё.

Она распахнула дверь. Громкий крик встретил ее на пороге.

А она уже улыбалась. Так человек, вошедший с морозу в избу и еще не различая с холода ни лиц, ни предметов в доме, все же улыбается заранее и теплу и словам, которые еще не сказаны, но которые – он знает – не будут враждебны ему.

– Таня, к нам! – кричали одни.

– Таня, с нами садись! – кричали другие.

А Филька сделал на парте стойку – прекрасную стойку, которой мог бы позавидовать каждый мальчик, хотя вид у него был при этом печальный.

А Таня все улыбалась.

Она выбрала Женю в подруги и села с ней рядом, как в лагере у костра, а Филька поместился сзади.

И в ту же минуту в класс вошла Александра Ивановна, учительница русского языка.

Она поднялась на кафедру и тотчас же сошла с нее.

«Ибо, – подумала она, – если четыре крашеные доски могут возвысить человека над другими, то этот мир ничего не стоит».

И, тщательно обойдя кафедру, она приблизилась к ученикам настолько, что между ними и ею уже не было никаких преград, кроме собственных недостатков каждого.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Статья печатается с изменениями по изданию: Жизнь и творчество Р. Фраермана. М.: Дет. лит., 1981.

2

На?ртовые (собаки, олени) – запрягаемые в нарты, узкие и длинные сани, употребляемые на Севере для езды.

3

Чаще это слово употребляется в другом значении: погонщик запряженных в нарты собак или оленей.

Купить: https://tellnovel.com/fraerman_ruvim/dikaya-sobaka-dingo-ili-povest-o-pervoy-lyubvi

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити